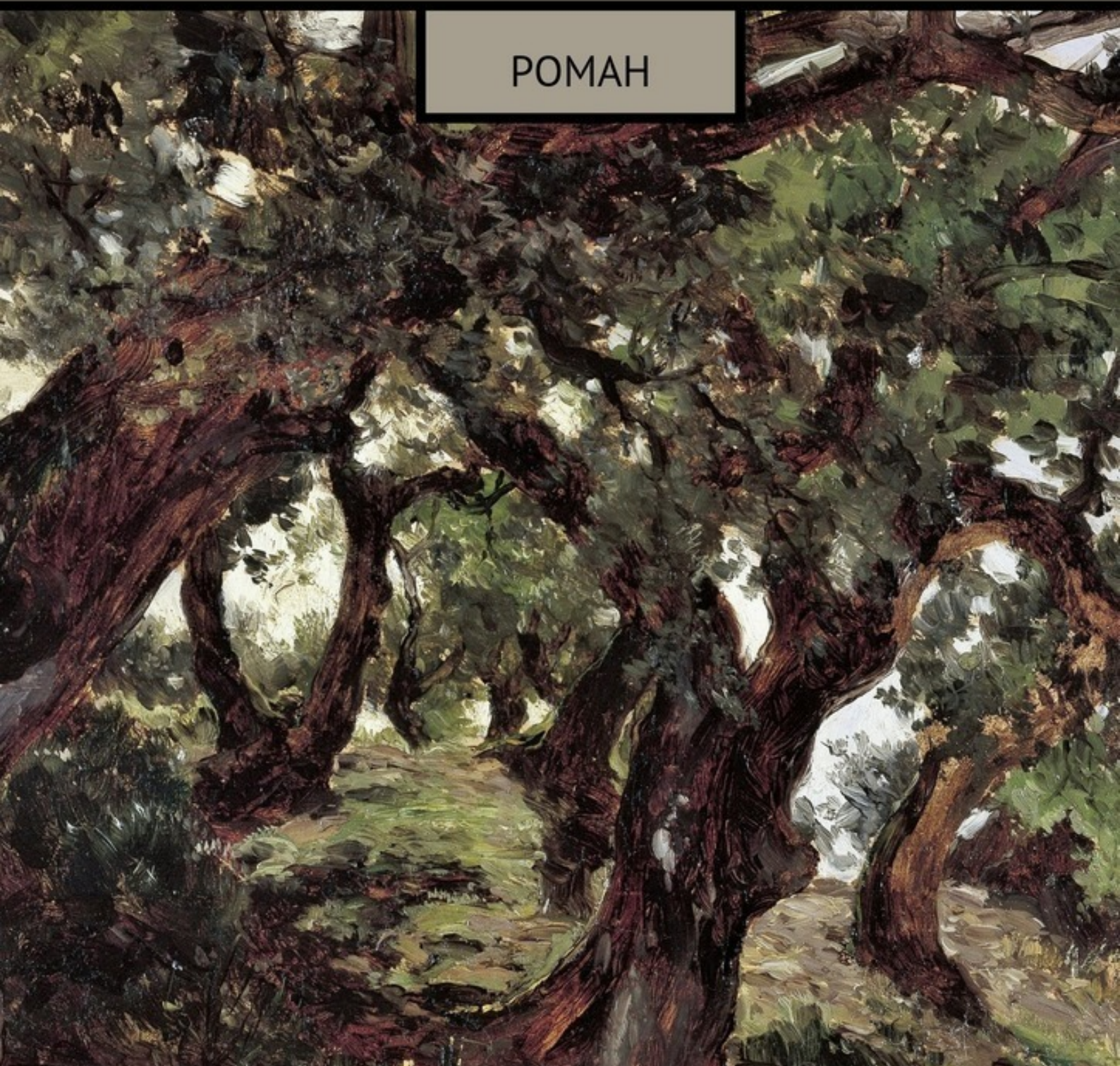


ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

Тень филина

РОМАН



Дмитрий Ермаков

Тень филина. Роман

«Издательские решения»

Ермаков Д. А.

Тень филина. Роман / Д. А. Ермаков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835652-0

Роман Дмитрия Ермакова «Тень филина» охватывает жизнь деревни Ивановки и села Воздвиженье на протяжении нескольких веков, но связь эпох в повествовании нелинейна — от таинственных провалов в смутные языческие видения до нынешних фермерских будней... Роман создаёт ауру места, выхватывая из сумрака прошлого картины жизни то одних, то других героев. Этим роман интересен, этим он выделяется из ряда подобных ему по теме...

ISBN 978-5-44-835652-0

© Ермаков Д. А.
© Издательские решения

Содержание

На берегу реки времени	6
Тень филина	7
Глава первая	8
2	14
3	16
4	20
Глава вторая	23
2	26
Николай Зуев	27
3	29
4	31
5	34
6	36
7	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Тень филина

Роман

Дмитрий Анатольевич Ермаков

© Дмитрий Анатольевич Ермаков, 2016

ISBN 978-5-4483-5652-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

На берегу реки времени о романе Дмитрия Ермакова «ТЕНЬ ФИЛИНА»

Русская деревня, её судьба, её гибель – одна из самых трагических страниц русской истории. Писатели обращаются к ней постоянно, чувствуя, что именно здесь скрываются ответы на роковые вопросы о самом существовании русской цивилизации, сила которой в особом восприятии родной земли, её стихий – в особом укладе жизни, в особом ладе с миром.

Роман Дмитрия Ермакова «Тень филина» охватывает жизнь деревни Ивановки и села Воздвиженье на протяжении нескольких веков, но связь эпох в повествовании нелинейна – от таинственных провалов в смутные языческие видения до нынешних фермерских будней. Время, как ветхая ткань, пестро залатанная, причудливо сплетает судьбы сельчан. Кто-то из них пытается вести записи, за которые, как за связующую нить, ухватываются потомки, пытаясь понять тайну своей жизни и жизни на этой земле. Но события не дают продолжать повествование, оно обрывается, потом неожиданно возникает снова, вплетаясь в многоголовую ткань исполненной трагических коллизий жизни...

Река и время – центральные образы романа. Движение вод постоянно, движение времени непрерывно, и, с одной стороны, нельзя войти в одну реку дважды, с другой – всегда можно вернуться на её берег, в родную деревню, покинутую, разрушенную – но таинственно живую, хранящую память веков в обрядовой маске, оставленных иконах, на заросшем кладбище... Перед нашими глазами проходит много героев – но судьбы их фрагментарны. Если обычно место становится поводом для рассказа о людях, то роман Ермакова создаёт ауру места, выхватывая из сумрака прошлого картины жизни то одних, то других героев. Так создаётся объёмное впечатление, и оно содержит в себе более чувства, переживания, чем собственно последовательные изложения. Этим роман интересен, этим он выделяется из ряда подобных ему по теме.

Здесь есть и важная поколенческая примета: рождённым в 1960-е память деревенской жизни, крестьянской русской цивилизации доступна уже не столько в реалистическом, сколько в мифологическом изложении, и первосмыслы передаются не через реалии быта, а именно через исторический объём, воздух времени. Дмитрию Ермакову удалось создать этот объём, это чувство неизмеримой вечности, ускользающей памяти. Он оставляет открытым вопрос о будущем – но так же открыт и вопрос о прошлом, и это даёт читателю надежду не на чудо возрождения в будущем, но на некое неведомое, недоступное логике человеческой продолжение жизни на Красном Берегу реки Времени.

Нина Ягодинцева

Тень филина

Это пока не сказка, а присказка, ведь присказка перед сказкой, что верста торчит в дороге полосатая, без неё не узнаешь далеко ли прошёл, и длинен ли ещё путь остаётся...

Когда началась эта река? Бог знает... Из болота лесного, гиблого – ручьём сочится. Вот уже и речушка. Вот и река – в берегах дремучих, где высоких, а где пологих. Небольшая, да и не маленькая. Название оканчивается на «га», как и у сотен ближних рек и ручьёв.

Несёт река свою воду, отражает берега и небо, как положено, вливается в другую реку, а та – ещё в другую, а та уже в студёное океан-море...

Когда осели на её берегах люди? Река не скажет, а люди не помнят. Люди живут. Люди пахут и строят. Люди ловят рыбу и бьют зверя. Люди любят и ненавидят. Люди оплакивают своих мертвецов и свои умершие деревни. И снова строят, и пахут, и любят, и умирают...
Всему есть место на берегах реки. Вода её – время. Небо отражённое водой, – вечность...

Глава первая

1

Сначала, с грохотом сшибаясь на излуках, уплыли громоздкие льдины, потом ещё долго проплывали серые ноздреватые льдины-оскрёбыши...

Тяжёлое серое небо придавило землю и воду.

И по большой, плоской, придавленной небом воде увозили бабушку...

Снега в ту зиму выпало много, он таял, река разбухала, заливала берега. Теперь уж до следующего льда – из Ивановки, с Красного Берега, в большой мир – лишь в объезд, крик десять вёрст до моста, либо на лодках и плотах.

А говорят, что и мост снесло...

Васятка стоял на берегу, смотрел, как удаляется плот, посреди которого – гроб. Плот качался, мужики с трудом выгребали поперёк течения... Казалось – гроб вот-вот соскользнёт в воду, и бабушка утонет. За мужиков он не боялся – они живые.

От берега отчалили ещё три лодки, в одной из которых и мама. Все едут прощаться с бабушкой. Там, на том берегу, у церкви, её зароят в землю. И в подтверждение этой неизбежности, с того берега, от колокольни плывёт тягучий печальный звук.

Голые вички затопленных ив торчат из воды, как вешки. Лодки плывут между ними, направляемые гребцами, отяжелелые молчаливыми людьми в тёмной одежде.

– Пойдём-ко, Васятка, домой. Не ровён час – продует, заболеешь, – по-взрослому говорит сестра Полина, ради него оставленная дома.

По грязной, размокшей, истолченной десятками ног дороге, возвращались они к родной избе...

Ивановка – три десятка домов. Пять из них вдоль реки, остальные двумя рядами уходят вглубь берега. Серебристые, будто инеем подёрнутые стены бань и сараев; тёмные, высокие, в одной связи с обширными дворами избы с полукруглыми поверху окнами, со скупой резьбой наличников и застрех; драночные чёрные крыши... Всё сейчас хмурое и тяжёлое, как небо...

Снег ещё кое-где остался в тени кустов, под глухими стенами амбаров и бань, но всё в природе уже готово к новому кругу, ждёт сокровенного мига... А бабушка их, Аграфена Ивановна Игнатьева, ушла в другой мир, в ту неведомую жизнь, в которую и верила, и будто бы уже прозревала незрячими в этом мире глазами...

...Бабушка уже давно, сколько он помнил, ничего не видела. Она сидела в своём уголке за печкой, там и спала на лавке, рассказывала сказки, да «про прошлую жизнь» сперва внучке Полине, а когда та подросла и всё чаще стала уходить из дома на взрослую уже работу, либо вечерами, с прялкой, к кому из подружек, стала бабушка внуку Васе те же побасёнки бухтить... Ещё песни пела – очень хорошо, и на праздниках, бывало, просили её особо и слушали все сидевшие за длинным столом...

В тот день никого в избе не случилось – отец у них на войне, Полина по своим девичьим делам где-то, мать со скотиной обряжалась. Бабушка сидела тихо и как-то особенно, что-то творилось в ней... Позвала: «Васятка, иди-ко сюда, милой...» Он подошёл, думая, что бабушка расскажет сказку, но она молчала, только гладила его по голове твёрдой сухой ладонью. «Бабушка, а спой песню». «Не до песен мне сегодня, милой». «А хочешь, я тебе стопочку налью?» – спросил Васятка. Он знал, где стоит у матери бражка, а стопка в доме одна – серебряная, с надписью по кругу: «Выпить пора – ура!». Отцовская, вернее, дедовская ещё, подаренная ему воздвиженским барином в старые годы за что-то... «А и то! Налей-ка мне, Васятка... Больше-то не пивать». Он уже знал действие браги. На праздниках, когда просили бабушку спеть, всегда перед тем наливали.

И бабушка выпила.

– Про Мальвину, бабушка! – попросил Васятка.

– Баладу-то... ну, давай баладу...

Песня та странная, не крестьянская, и называли её почему-то «балада». А бабушка её ещё по молодости под окном барской дочки пела – любила та... А научила той песне повариха из Петербурга привезённая... Всё это тоже рассказывала она внучке и внуку...

Бабушка упёрлась обеими руками в край лавки, будто вглядываясь во что-то невидящими глазами, негромким ровным голосом запела, чуть покачиваясь...

Бедный льцарь всё стремился

Ко Мальвине молодой,

А Мальвину обряжали,

Жертву бедную, к венцу.

– Вы, подружки, подождите,

Дайте сердцу погрузиться,

Вы, любимые, скажите,

Как мне льцаря забыть?

Что же делать?.. Дам я руку,

С кем родитель повелел...

В церкви всё было готово,

Их священник ждал давно...

Голос бабушки креп, набирал силу, и расправлялась её давно, казалось, навечно согнутая спина, и она будто не здесь уже была, а там – в песне...

В замке что за освещение?

Льцарь к замку прискакал.

На нём шлем надет пернатый,

Меч на ленте голубой.

Поздно, поздно, гость незванный,

Поздно, льцарь молодой.

– За измену – нет, не поздно!

Льцарь саблю обнажил...

И блестящая – взвилась!

С плеч скатилась голова...

Вся толпа заговорила,

Что Мальвина умерла.

– Мать, да ты что? – Васяткина мать вернулась. – Что это бабушка-то у нас?..

– Верка, посылай за попом, пора мне... – тихо ответила бабушка, тяжело легла и больше уже не встала...

...Дома Полина дала Васятке кусок пирога с картошкой, налила в чашку кипятка. Села у окна за пядьцы. А Васятка, уплёл пирог, влез на тёплую печку, и там лепил из прихваченного с улицы кома глины фигурки – человека, собаку, кошку...

После полудня вернулись с того берега (уплывали-то совсем рано утром). Полина выставила кутью, приготовила посуду. Среди приехавших был и жандармский, кажется, офицер. Молоденький и какой-то, хоть и при форме, не воинственный, может из-за очков, которые всё время сползали с переносицы, или из-за смешно подкрученных, не идущих ему усов...

Впрочем, жандармский ротмистр Иван Алексеевич Сажин, приехал, конечно, не ради поминок древней незнакомой ему старухи. Но подвернувшейся оказией в Ивановку воспользовался. Он приезжал в село Воздвиженье, в гости к подполковнику Зуеву, и для разговора и пригляда за местным священником отцом Николаем, организовавшим в селе «крестьянскую

чайную» и яростно боровшимся с пьянством среди своих прихожан. А в Ивановке хотел проведать ротмистр Сажин ссыльного поселенца Потапенко.

И тут, в Ивановке, выяснилось, что ссыльного никто не видел уже два дня...

В дом Игнатьевых заходили соседи – выпивали рюмку, заедали кутьёй. «Земля пухом и вечная память», – говорили, либо что-то подобное и уходили – не принято на поминках рассиживать... Мужиков мало, тех, кто в силе да возрасте война призвала, уже третий год как. Остались недоростки, переростки, да негодные к службе, как отцов брат дядя Михаил, с покалеченной, перебитой ещё по молодости и неровно сросшейся, усохшей левой рукой.

– Васька, а ты чего там забился-то? – захотел, видно, приободрить дядя племянника, отдернув занавеску, глянул на печь. – Ну, ты чего, спишь?..

– Нет, божатко...

– Верка, глянь парня-то, не заболел ли? – Что-то насторожило Михаила Игнатьева в Васяткином голосе.

...Ротмистр Сажин тоже выпил рюмку за помин души новопреставленной, и, разместившись в отведённой ему горенке, вызвал через хозяйкину дочь, старика Кочерыгу.

Тот одиноко жил в кособокой избёнке на отшибе – рыбак и охотник, к которому относились все, с одной стороны шуточно-презрительно, чему подтверждением и неблагозвучное прозвище, за то, что он не работал на земле; с другой стороны – уважительно, потому что в своём деле – охоте и рыбалке, в знании реки и леса он был главный знаток во всей краснобережной округе.

– Здравствуй-здравствуй, Егор Емельянович, – повеличал его Сажин, привычно подкручивая концы усов и поправляя очки в тонкой оправе. – Скажи-ка мне, куда и каким образом ушёл ссыльный Потапенко?

– Дак, ваше благородие, – старик почесал бороду большой чёрной ладонью, вроде как задумался и неторопливо продолжил, – сам же знаешь, только по воде. А потому как лодки ничьи не пропали...

– На плоту... Рисковый человек.

– Отчаянная голова, – подтвердил охотник.

– А вот, я слышал, он с тобой любил поговорить, даже и на охоту хаживал?

– Говорить особо не говорили, он молчун, да и я болтовню не люблю. На охоту пару раз брал. Да разве ж то охота – баловство...

– Так, может, скажешь, и докуда поплыл?

– Опять же, ваше благородие – сам знаешь. На чугунку ему надо – стало быть...

– Я-то знаю, а ты, почему хотя бы старосте не донёс?

– Я за ссыльным не надсмотрщик. А что он пропал – только сегодня от вашего благородия узнал, – гордо вздёрнув пегую бородёнку, ответил Кочерыга.

– Ну, ладно-ладно... Слушай-ка, белки есть у тебя, ну, шкурки? Только, чтоб хорошей выделки. Мне на шапку, жене.

– Есть, – на этот раз с явной заинтересованностью ответил старик.

– Ну, мне бы поглядеть. Принесёшь?

– Отчего ж не принести. Принесу. А выделка у меня, сами знаете, наипервейшая...

– Ну, давай, давай. Я хорошо заплачу.

И ротмистр в ожидании охотника со шкурками, выпил ещё чаю и распорядился готовить постель. Торопиться поимкой ссыльного не имело смысла, он наверняка уже подъезжал к Петрограду...

Утром Сажин опять выпил в избе стакан чаю. Кликнул Васятку :

– Покажи-ка мне, оголец, где ссыльный жил...

Мать, тронув лоб Васятки тыльной стороной ладони, и ничего не сказав, ушла опрашивать скотину. Полина ради гостя была ещё дома – грела самовар...

Мальчишка, шмыгнув носом, и, видимо переборов опаску, взглянул прямо на офицера, спросил:

– А у тебя там наган есть? – кивнул на пристёгнутую к португее кобуру.

Полина, услышав от печи разговор, опасно окликнула:

– Васятка...

Сажин, усмехнувшись, поправил очки, молча достал из кобуры револьвер:

– А ты как думал? – и убрал оружие. – Не бойся, барышня, – подмигнул он Полине.

– Я и не боюсь! – вспыхнув щеками, откликнулась девушка. – Только нельзя ему, с вечера, чужлось, заболает.

– Ничего я, Поля, и не заболает, – отвечал Васятка, уже натягивая сапожки, запахивая вытертый короткий тулупчик и напяливая шапку. – Провожу дяденьку, да и всё, ничего я не болею...

И Васятка повёл офицера к старой куликовской бане, где и обитал за небольшую плату ссыльный Потапенко.

Впрочем, было в бане довольно чисто. В предбаннике пусто, лишь обтрёпанный голик в углу, дальше, в моечной, переделанной в жилую комнату – банная печка с котлом, обложенным камнями; стол перед окошечком с мутным стеклом, широкая лавка с набитым сеном матрасом, на столе пустая деревянная солонка и какая-то мятая книжка, вырванная из переплёта... И ещё чувствовался запах табака – ссыльный много курил.

– Слушай-ка, как тебя... Васятка? – окликнул мальчишку Сажин, убирая книжку, забытую ссыльным, в полевую офицерскую сумку.

– Угу, – опять шмыгнув носом, подтвердил мальчишка, опасно заглядывавший через порог в бывшую баню.

– Васятка, а где-то тут у вас есть какой-то Марьин камень?

– Угу.

– Можешь показать?

– А стрельнуть дашь? – на этот раз не задумываясь, спросил Васятка.

– Дам, – просто ответил ротмистр.

Сажин зачем-то ещё заглянул под лавку, выпрямился, оправил португею, привычно нагнул указательным пальцем правой руки очки на переносицу и вышагнул в предбанник.

По раскисшей дороге вышли за деревню. Слева были поля, и сразу бросались в глаза полосы озимых в зеленоватой дымке, по ним деловито расхаживали грачи, как заведённые опускали головы к пашне и сразу поднимали, и снова опускали... Густо пахло навозом... Справа от дороги – пологий спуск к реке, с клочками жухлой прошлогодней травы и пробиравшимися кое-где зелёными волосками травы нынешней. Дорога потянула вверх, началось мелколесье, кустарник. Тропка свернула с дороги влево, круто в гору. Васятка бежал впереди, бойко шлёпая растоптанной обувкой по лужам. Сажин тоже особо уже не выбирал дорогу, – бесполезно, – только старался не смотреть на свои хромовые сапоги.

Тропу обступили высокие деревья – берёзы, ели. Наконец выбрались на макушку угора – голую полянку с огромным камнем-валуном посредине.

С трёх сторон поляну охватывал негустой лес, а четвёртая была распахнута на реку и заречное село Воздвиженье, раскинувшееся вдоль реки и вглубь берега. Воздвиженский храм с колокольной белел стенами, тянулся крестами к небу, прямо напротив угора.

– Вот он и есть, Марьин камень, – сказал Васятка, шмыгнув опять носом и с интересом уставился на Сажина, думая, наверное, «и чего это офицеру тут надо?»

Ротмистр оглядел камень – древний, кое-где покрытый бело-зелёным лишаем, с чётким чаше-подобным углублением в верхней части. Камень явно был когда-то специально поднят на эту гору от реки, берега которой изобиловали подобными валунами, правда, меньшего раз-

мера. Сажин и размер прикинул, достав из сумки, моток бечёвки – диаметр и высоту, узелками отметил. Васятка увлеченно помогал ему...

– Дяденька, – спросил, – а ты зачем камень меряешь?

– Это, брат, похоже, не простой камень. Не всегда ведь и мы, русские, христианами были, молились вот на таких горках у таких камней своим богам... Твои предки... Напишу в книжке про ваш камень.

Сажин действительно уже предвкушал, как возьмётся за статью об этом камне для губернского археологического сборника, готовящегося к изданию в этом году и для губернской газеты.

Иван Алексеевич Сажин был активным членом кружка любителей археологии и краеведения.

Васятка мало что понял из его объяснения, но не забыл про пистолет.

– Ну, давай, пробуй. – Сажин неторопливо протёр стёкла очков платком, достал оружие, взвёл курок, встал позади мальчишки, револьвер вложил в его руки, но и сам придерживал, помог навести на разлапистую сосну, кора которой была похожа на чешуйчатый, местами рас-трескавшийся панцирь. Грохнул выстрел. Пуля, смахнув попутно макушку молодой берёзки, плотно вцепилась в сосновый ствол. А из кроны вдруг сорвалась большая круглоголовая птица и проплыла над мужчиной и мальчиком, опавшим их широкими крыльями...

...Впереди шёл высокий седой старик, облачённый в длинную, до колен белую рубаху, перехваченную по поясу зелёным кушаком в какой-то сложной вышивке. На подоле, на рукавах широких и длинных и на горловине рубахи – тоже вышивка. Длинные седые пряди перехвачены кожаным ремешком, опирается старик на резной посох с навершием в виде круглоголовой птицы с полурасправленными широкими крыльями. За ним под руки ведут девушку в венке из луговых цветов, в длинной, до пят рубахе. Идёт она будто бы в полусне, с прижмуренными глазами и на губах её – смутная улыбка. Ведут её две старухи, сторбленные, косматые... За ними толпа мужиков, баб, детей... Но у рожицы перед угором все останавливаются. Тут девушка оборачивается, говорит что-то, кланяется до земли, и все люди кланяются ей... Все что-то говорят или поют, но ничего не слышно. Звуки не проходят сквозь уплотнённый воздух. Дальше, на угор где лежит камень, идут лишь старик-волхв и девица, ведомая старухами... И застилает всё туман, а когда рассеивается – открываются огромные костры вокруг камня, девушки и парни прыгают через огонь, и убегают они в черноту ночи от костров под угор, к реке... И опять туман за клубился, и откуда-то из далека, из дымки туманной идут люди с неразличимыми лицами в белых одеждах – женщины в рубахах до земли, мужчины в подпоясанных рубахах и портках. Идут, идут на него, Васятку (он как будто бы очнулся, осознавал, что это он всё видит и понимает), и вдруг остановившись, кланяются ему низко, разворачиваются и уходят, уходят в дымку, в туман, не видны уже...

Мальчишка очнулся, попытался встать, не смог. Сажин подхватил его.

– Что ты, брат, что ты... – и снова шлёпнул его по щекам.

Васятка потряс головой, стряхивая с себя морок и, отстраняясь от офицера, встал на ноги.

– Пойдёмте домой, – твёрдо по-взрослому сказал.

– Ну, пойдём, пойдём. Напугал ты меня...

В доме Сажин расплатился за постой с Верой Егоровной и пошёл к Кочерыге, с которым ещё с вечера сговорился о перевозе в Воздвиженье...

...И уже лежит Васятка, внутренним жаром горя, что-то шепчут его губы, и он всё скидывает с себя отцовский тулуп. А мать тулуп поправляет, приподнимает голову, даёт питьё. Зовёт Полину:

– Послушай, чего он бормочет-то, ничего я дак не разберу.

Полина садится рядом с братом (он сейчас лежит на той самой лавке за печью, на которой доживала свои дни бабушка), тоже оправляет на нём тулуп, силится понять слова.

– Это я... из-за меня... Из-за меня...

Поняла сестра, вспомнив рассказ матери о последней бабкиной «стопочке»:

– Себя он винит. Жалеет бабушку.

– Ой, мило-ой... – вскидывается будто для плача мать, но сама себя осекает.

...Ночью уж, в темноте спускается Полина с печи к Васятке (мать спит на кровати), трогает горячий его лоб, касается вялой сухой ладошки, и вдруг, перекрестившись торопливо, прикрыв глаза, положив снова ладонь на лоб ему, шепчет то, что слышала от бабушки, когда та выхаживала её, Полину, больную: «В океяне-море пуп морской, на том пупе – бел-горюч камень Олатырь, на бел-горюч камне Олатыре сидит белая птица, залетала тая белая птица к рабу Божиему Василию и садилась на буйну голову, на самое тимя, золотым клювом выклёвывала, серебряными когтями выцарапывала, белыми крыльями отмахивала привороты, и наговоры, и всяку немочь за сине океян-море, под бел-горюч камень, под морской пуп! Так тому и быти, аминь!» И губами к горячему лбу его приложилась, и крестом осенила...

Восемь дней лежал Васятка в бреду и не знал о том.

...Очнувшись, он сперва не понял, где он и что с ним... Лежал он на той же лавке за печкой. В доме было тихо, и было даже слышно, как на дворе перестукивает копытцами телёнок... Где были сестра и мать Васятка не знал. Приподнялся, увидел рядом с лавкой, на табуретке, чашку, попил. Квас. Покачиваясь, встал, и пошёл на крыльцо. Солнечный свет ослепил, опьянил воздух. Васятка, едва снова не потерял сознание...

2

Иван Сергеевич Потапенко потомственный питерский пролетарий с малороссийскими корнями, побывавший и членом гапоновской организации, и эсером, с 1912-го – член РСДРП.

В тот вечер он старался всё сделать так, как подсказал ему старик Кочерыга.

Плот на воду столкнул уже в темноте, сначала вёл его вдоль самого берега, а за первым поворотом стал править через реку, именно здесь, по словам старого рыбака, нужно было переплыть к другому берегу. Длинный шест, почти весь уходил в воду, но всё же доставал до дна даже на середине – не соврал старик. Отчаянно толкаясь от дна, он пересекал реку, второй, запасной шест лежал у ног, и всё же соскользнул в воду при опасном наклоне плота. Весь небогатый скарб беглеца в заплечном мешке – даже если Потапенко свалится в воду, мешок при нём останется... Но не свалился, вытолкал плот на спокойную воду у противоположного берега, теперь вдоль него поплыл.

Мост был построен в узкой горловине, сейчас лишь сваи торчали из воды, сжатой высокими берегами, бурлившей, бесившейся... Потапенко понял, что здесь не пройти на плоту. (Вспомнил слова Кочерыги: «Как к тому-то берегу переплывёшь – всё гляди вперёд, увидишь часовенку и приставай, дальше негде будет – расшибёт о сваи». Вон часовня-то совсем рядом уже...) Попытался прибиться к берегу, но не смог, плот садануло о сваю, и необоримая сила скинула Ивана Потапенко в ледяную воду. Он сперва всё же ухватился за склизкую сваю, успел оценить своё положение – берег рядом, но крутой, обрывистый, ухватиться не за что, не выбраться, и, глянув вперёд, Иван Сергеевич оттолкнулся, отдался течению. Его чуть не пронесло мимо отмели на излучке реки, из последних сил выгреб он к плоскому берегу, на карачках выполз на глинистую землю, лёг. Но сразу поднялся, заставил себя сначала идти, а потом и бежать, чтобы не простудиться... Темно было, небо туго затянуто тучами – ни звезды... Он продрался сквозь прибрежные хлесткие кусты. Перед ним было поле, слева чёрной стеной – лес, а справа, вниз по реке, почудились очертания домов, и он побежал в ту сторону. Вот уж и крайняя изба видна, и свет тусклый лучинный в окне чувствуется. Потапенко не стал искать калитку, под жердину огорода подлез. «Хорошо, собаки нет», – подумал, поднялся по скользким ступеням крыльца, на верхней оскользнулся, ударился коленом, встал. Стукнул несильно в дверь, потом ещё – посильнее, услышал шаги.

– Кто там? – спросил грубый женский голос.

– Откройте, пожалуйста. Мне бы обсохнуть. Я заплачу.

Послышался звук сдвигаемого засова...

...Месяц пролежал Иван Потапенко в доме Ульяны Шаравиной. Похоронку на мужа получила она ещё в конце четырнадцатого. Жила со старухой матерью и двухлетним сыном. У зятя и свекрови не осталась. Не любили они невестку, за то, что Пётр их взял её самочинно, да и бесприданную. Как получила похоронку, отгоревала положенный срок, и в материн дом вернулась.

Месяц выхаживала она Ивана, строго наказав матери никому не говорить. Да та по немощи и не выходила из избы, но за внучком как-никак приглядывала. Всё хозяйство, хоть и не ражее, на Ульяне было.

...Иван выплывал из жаркого марева... Радужные круги разбегались в глазах... Усилием воли он будто утвердился на твёрдой почве, остановил это покачивание... Он увидел глаза, любопытные, озорные и испуганные одновременно, уставившиеся на него. Мальчонка, кроха совсем, в рубашонке до пола. И Потапенко, усмехнувшись через силу, выдавил из себя:

– Здорово, пострел... Где мамка-то?..

Глазёнки округлились в удивлении. И вдруг мальчонка ткнул в него пальчиком:

– Тятя!..

Тут и Ульяна вошла. Потапенко сейчас будто впервые увидел её. Помнил из той ночи, когда явился сюда, только голос, сильные руки, да ещё, как коснулась его щеки выбившаяся из-под платка прядка...

– Здравствуй, хозяйка... Извини уж...

И вдруг откуда-то из невидимого угла – хриплый старушечий голос:

– Ульянка, ожил, чё ли?

– Ожил.

Иван Потапенко, переболевший, как сам понял, воспалением лёгких, благодаря Ульяным заботам – травяным отварам да тёплой печке, был здоров, но покидать дом не торопился. Да и она не гнала...

3

В июле Сажины собрались в губернский город – Иван Алексеевич получил очередной отпуск по службе. Поженились они только-только весной после Пасхи, и даже свадебного путешествия у них до сих пор не было – война, служба, не до того... И вот собрались. У Ирины в городе замужем сестра, хотелось встретиться, хотелось посетить театр... Поехали.

Тёмно-зелёные вагоны, чёрные металлические подножки, рукоятки на входе в вагон с набалдашниками в виде двуглавых орлов, запах угля, звон станционного колокола, близость другу друга, пьянили их... И поездка в давно в общем-то знакомый, и вполне спокойный даже по военному времени город, виделась и была для них счастьем, как счастьем были все четыре месяца их новой совместной жизни...

В купе Ирина села на мягкий с бархатистой обивкой диван, в уголок, в полумрак и оттуда посверкивала счастливо смеющимися глазами на мужа, устраивающего на багажной полке баул и чемодан... Она не стала раздвигать задёрнутые шторы на окне, сразу, как бы отделившись от законного мира. Иван сел не рядом с ней, а напротив, через столик и внимательно посмотрел в её глаза, и она ответила таким же взглядом. Звякнул на перроне колокол для их поезда, и он мягко тронулся... Они говорили и молчали, и снова говорили... Иван не стал курить в купе и вышел в тамбур. Там у окна с папиросой в руке стоял невысокий коренастый мужчина в приличном, хотя и явно не дорогом костюме-тройке, с гладко зачёсанными назад волосами, с усами, висящими по-сомовьи.

Сначала они отвернулись друг от друга, оттолкнулись взглядами. Но одновременно и повернулись друг к другу снова.

– Здравствуйте, господин Потапенко.

– Здравствуйте, господин Сажин.

– Признаюсь, не ожидал. Был уверен, что вы уже в столице.

– Не получилось сразу. Извините, если не оправдал надежд, – усмехнулся Потапенко.

При этом он лихорадочно соображал, что делать – выйти из поезда на ближайшем полустанке, или пытаться уйти от полиции уже в губернском городе, или...

– В Москву, всё же? – спросил спокойно Сажин, выпуская дым тонкой струйкой (он тоже решал для себя, что делать).

– Да.

– А мы с женой в губернию...

С гудением и стуком надвинулся и полетел параллельно встречный состав. Вагоны с оконцами, в которые видно стриженные головы, платформы с зачехленными орудиями – воинский эшелон.

– Два года длится небывалая в истории мировая бойня. И власть, которой вы служите, ротмистр, не в состоянии остановить её ни победой, ни какими либо другими средствами... Сами гибнут и народ губят! – сказал, сминая в плоских пальцах мундштук папиросы Потапенко.

– А вы, окажись власть в ваших руках, сумели бы это остановить?

– Это первоочередная задача нашей партии... Да, – вскинулся Потапенко, – чуть не забыл – я читал вашу статью в газете, о Марьином камне, о язычестве... Честное слово, господин Сажин, занимались бы вы историей, как вас в жандармы-то угораздило...

Сажин докурил папиросу, смял пустой мундштук и бросил в пепельницу, вынул из кармана платок, снял и протёр очки:

– В жандармы меня угораздило по воле отца и молодому романтизму, а история и археология... Не знаю... Любое дело требует полной самоотдачи. Я же, скажу вам честно, ленив и более всего хочу покоя душевного, который и нахожу отчасти в своих исторических заня-

тиях – вот так, пожалуй... – Он усмехнулся невесело, и, твёрдо, прерывая затянувшийся разговор, сказал: – Что ж, удачи, господин Потапенко.

– И вам всего доброго, – ответил Иван Сергеевич и раскрыл дверь, ведущую в соседний вагон, шагнул туда, в грохочущий и неустойчивый межвагонный переход...

Сажин вернулся в купе. Ирина глядела из своего уголка испуганно.

– Ваня, почему ты так долго? Мне страшно... Этот состав, солдаты... Их всех убьют... Я знаю – их убьют...

– Ну что ты, не бойся, родная... – ротмистр Сажин впервые наблюдал неожиданную истерику жены.

...Ирина успокоилась. Мерный перестук колёс, плавное покачивание вагона, и его равномерное вздрагивание на стыках рельс, привычные виды северной России за окном – поля, леса, деревеньки, речки и снова поля и леса, близкий, но, оказывается, ещё не совсем, не до доньшка души знакомый человек, с которым жить и жить – всё успокаивало, и навевало думы о счастье. И не верилось, что где-то идёт война, и горе, как ветер носится над этой землёй...

Они попили чаю. Ирина прилегла на диване, подложив под голову подушку, раскрыла какую-то книгу... Иван Сажин раскрыл кожаный портфель, достал недавний номер губернской газеты. Как всякий начинающий автор (а это была всего лишь вторая его публикация в прессе), он переживал и не до конца верил, что это его мысли, записанные его рукой, облечены в печатную форму и выставлены на всеобщее обозрение. Он, немножко стыдясь жены, но и будучи не в силах отказать себе в этом, развернул газету и перечитал свою статью...

То что протославянский язык близкородствен санскриту, уже давно не вызывает сомнения у специалистов в этой области (одна из наиболее серьезных работ на эту тему «О сродстве языка славянского с санскритским» г. Гильфердинга опубликована ещё в 1853 году).

Вновь убедился я в правоте этих выводов, побывав недавно в одном из отдаленных уездов нашей губернии, в месте, носящем поэтическое и безусловно древнее название Красный Берег. Название протекающей там речки, как и сотен других речек, ручьёв и рек в наших краях, оканчивается на слог «га». В санскрите же, как известно, «га» – это движение. (Не отсюда ли и «но-га» или «го (га) – ра»? Предположу, что «гора» («гара»), есть – движение к солнцу («ра» – солнцу) ... Впрочем, подобные предположения далеко могут увлечь нас в наших мечтах... Но, еще языковое наблюдение: выражение «трава-мурава», повсеместно употребляемое на Русском Севере, фактически, повторяется в санскрите, где слово «мурава» и обозначает – трава... Следственно, арии, пришедшие на полуостров Индостан несколько тысяч лет назад, говорили на языке, остатки которого ощутили мы и в языке нынешних жителей Русского Севера и, в частности, Красного Берега. (Говорю «остатки», но нынешний русский язык и его северные диалекты, не есть ли тот самый древний праязык, лишь видоизменившийся, в силу естественной эволюции?) Недавние же работы индийских и английских авторов, переводчиков и комментаторов «вед» и вовсе поражают – оказывается, в древнейших арийских текстах описываются полярные и северорусские реалии – полярные ночи зимой и белые ночи летом, стоящая над головой Полярная звезда, северное сияние, всё это могло придти в древнейшие индоарийские тексты лишь при условии длительного проживания именно в наших и более северных широтах...

Так что же за люди жили на месте нынешней «краснобережной» деревни Ивановки (название явно «молодое»), следы древней культуры которых, удалось мне обнаружить? Неподалёку от деревни, на возвышенном берегу реки, называемом в той местности «угор», на самой верхней точке этого угора, есть полянка окруженная лесом. Поляна эта, смею предположить, искусственного происхождения, то есть, когда-то на самой макушке угора деревья были специально вырублены. Посреди поляны и сейчас лежит огромный камень, именуемый в народе – «Марьин камень».

Само по себе – то, что камень имеет название, уже говорит о том, что это не простой камень. А слово «Марьин», хотя и относят сейчас более к христианской традиции (например, по информации г. Угрюмова, опубликованной в прошлогоднем выпуске «Губернского археологического вестника», в одном из уездов подобный же камень называют «Богородициным»), на самом же деле имеет гораздо более древнюю этимологию: «мор», «мора», «морена» – древнейшие слова обозначающие смерть, а может быть, и «богиню» смерти у древних ариев (а я убежден, что на Красном Берегу жили именно арии – пранарод, носитель праязыка) ... Но слог «ма» (возможно, корень, а не слог) может указывать и на древнюю богиню урожая Макошь (она же, по всей видимости, и «мать-сыра земля»), одну из самых почитаемых у древних славян. Тем более, что камень всё же явно связан с женской, возможно, жертвенной обрядностью.

Исходя из географии места, очевидно, что камень на гору был поднят от реки, где, кстати, подобные камни-валуны, наследие ледника, находятся в изобилии...

Далее шли размеры камня, еще некоторые данные и размышления автора... Сейчас, перечитывая статью, он видел её недостатки – многословие, неточность... И всё же – напечатали ведь! Сажин зачем-то поднёс газету к самому лицу и... с наслаждением вдохнул запах типографской краски.

Ирина спала, по-детски подложив ладони под щеку, подогнув ноги обтянутые серой шерстяной юбкой. Иван, достал из чемодана плед, укрыв жену и сел рядом с нею...

Ольга, сестра Ирины, и Константин Сергеевич Маринов, её муж пехотный офицер, встречали Сажиных на перроне вокзала. Сёстры обнялись. Мужчины пожали руки. Носильщик с бородой-лопатой и тусклой бляхой на тёмно-синем фартуке уложил на тележку вещи приезжих и деловито покатил к выходу с перрона.

Рядом разгружался санитарный поезд. Медбратья – молодые ребята в военной форме с крестами на фуражках – несли носилки, ходячие раненые – с подвязанными руками, забинтованными головами – шли сами. Пожилой солдат подпрыгивал на одной ноге, едва опираясь на вторую, его поддерживала сестра милосердия – тоже пожилая, с грубоватым лицом. «Ой, полегче, сестрица, ой, полегче...», – тихонько причитал солдат...

Сажины и Мариновы замолчали...

Привокзальная площадь наполовину была заставлена санитарными каретами.

Носильщик, едва протолкав тележку к их экипажу, пристроил вместе с кучером багаж, принял плату от Константина Сергеевича, «благодарствую» буркнул и пошел обратно к перрону, откуда все несли и несли, вели и вели раненых...

Иван Алексеевич тревожно поглядывал на жену, но Ирина, на удивление, держалась сейчас спокойно.

А город встречал образом тихой жизни: ухоженной зеленью, спокойными прохожими, вывесками магазинов и лавок...

Вскоре подъехали к простому, но при этом просторному двухэтажному деревянному дому, отделенному от улицы невысоким забором, за домом виднелся сад, во дворе – дровяник, каретник, конура, из которой лениво выглянул седой пёс и снова убрался...

– Как хорошо у вас, Оля! Как спокойно...

На крыльцо, громко хлопнув дверью, выскочили мальчик и девочка:

– Мама, папа! Тетя, дядя!..

– Серёжа, Катя, переобуться-то... – не поспевая за детьми, вперевалочку шла старая няня...

После обеда женщины с детьми гуляли в саду. Мужчины курили в кабинете.

– Между нами – несколько дней назад состоялась встреча командующих фронтами. Были все, кроме Корнилова. Но его-то и называли будущим Верховным... – Константин Сергеевич

рассказывал свежие петроградские новости. Он лишь третьего дня приехал из столицы, где лежал в госпитале, а теперь находился в отпуске.

– Как? – недоуменно взглянул на него Сажин.

– Да-да. Нужно быть готовым к смене формы правления...

Вечером ездили в театр. Местная труппа давала «Вишневый сад».

– Не стук топора по стволам, за сценой, а стрельба и «Марсельеза» должны бы слышаться в конце пьесы по сегодняшнему-то дню, – сказал вдруг Сажин, когда вышли из театра (до дома решили прогуляться пешком).

Константин Сергеевич промолчал в ответ.

– Иван... – укоризненно вздохнула Ирина, беря мужа под руку.

– А я верю, что все будет хорошо, – сказал Ольга, тоже беря мужа под руку. – Иначе, без веры в хорошее – как и зачем жить?..

В недалеком городском саду играл военный духовой оркестр. Тревожная музыка вальса наплывала и волновала...

И в сумерках уже не заметил Иван Алексеевич, как прикусила губу жена, едва сдерживая слёзы, только почувствовал, как сжала она его запястье...

4

В Питере Потапенко оказался лишь к осени, (задержался в Москве, где ему изготовили новый «чистый» паспорт на фамилию Поздняков. Иваном Сергеевичем, правда, остался).

Ещё в августе в Петрограде были арестованы тридцать членов ЦК РСДРП. Всё руководство рабочим движением практически перешло в руки Выборгского комитета, членом бюро которого и стал в январе семнадцатого Иван Сергеевич Поздняков...

Утро было хмурое, всю ночь валил мокрый снег, и сейчас не переставший и переходящий временами в холодный дождик. Поздняков подошёл к проходной завода «Рено». Полицейский с кобурой на боку, стоявший под фонарным столбом неподалёку, дёрнулся в его сторону, хотел окликнуть, но незнакомый ему коренастый мужчина в кожаной кепке и драповом пальто уже прошёл на территорию завода. Причём, и время неурочное – все рабочие и служащие уже прошли. Полицейский всё же спросил у дежурного на проходной:

– Это кто? Чего-то я не помню?

– Свои, Алексеич, – с ленцой ответил дежуривший толстый мужик. И добавил: – Инженер новый.

Полицейский глянул на круглые часы над проходной, минут через десять должен подойти казачий разъезд. Хотя казаки не больно полицию любят, а всё же с ними надёжней в случае чего... А случиться может что угодно. О забастовке опять вон толки идут. И о чём начальство думает, по одному тут выставляя...

Поздняков прошагал за встретившим его у проходной парнишкой лет семнадцати в ремонтно-механический цех.

В раздевалке его ждали пятеро руководителей заводского комитета, со всеми за руку поздоровался.

– Ну, как, товарищи, готовы?

– Готовы. Нам отступать некуда, – за всех ответил крупный сутуловатый рабочий лет сорока с густыми рыжеватыми усами.

В дверь всунулась лысая голова с шустрыми глазками и оттопыренными ушами:

– И чего это мы, господа хорошие? Шабашить решили?

– А вот мы уже и идём. – Все поднялись. А голова быстро убралась, и будто никого и не было за дверью...

– ... Товарищи, на сегодня назначена всеобщая забастовка и демонстрация питерских рабочих... Будем пробиваться в центр города, товарищи. Лозунги наши прежние: «Долой войну!», «Долой самодержавие!» Сейчас группами расходимся по цехам, выводим народ на улицу и организованной колонной движемся к Литейному мосту. Хотя большинство воинских частей на нашей стороне, столкновения с войсками возможны. Есть данные, что сформированы специальные офицерские отряды. Власть в Питере должна перейти в руки Совета Рабочих и Солдатских депутатов до подхода армейских частей с фронта...

– Всё ясно, Иван Сергеич, идём!

– По цехам!

– Бросай работу!

Минут через десять раздался неурочный резкий заводской гудок, возвестивший начало стачки, напугавший молодых лошадей, подъехавшего к проходной завода казачьего разъезда. Рабочие затихли, увидев казачью силу. Но передние, как по команде, молча, сцепились локоть в локоть, за ними поднялось и развернулось красное полотнище с чёрными буквами: «Свобода или смерть!» И казаки молчали. «Вперёд, товарищи!» – негромко сказал Поздняков, но его услышали все, колонна демонстрантов двинулась с заводского двора. Звякнули удила, и также слышно всем прозвучал негромкий голос есаула: «За мной!» Казаки тронулись, но не на рабо-

чих, а вдоль по улице, прочь от колонны. Серый жеребец на скаку приподнял хвост, и на мостовую посыпались зелёно-жёлтые «яблоки»...

... В это же время в казарме третьей роты триста двадцатого пехотного полка прозвучала команда:

– Получаем оружие, выходим на улицу строиться!

Споро разбирали в оружейной комнате винтовки, подсумки с патронами.

– Ну, братцы, как договаривались, – не громко, но твёрдо сказал коренастый, широкоскулый солдат с лицом как дробью побитым. И другие солдаты брали оружие молча сосредоточенно, будто разбирали инструменты перед ответственной работой.

– Становись! – скомандовал командир роты капитан Ковалев.

Построились.

– Солдаты! Бунтовщики идут к центру города. В условиях войны любой бунт – прямое предательство. Наша задача остановить их...

Семён Игнатьев стоит на привычном месте в строю. Весело и страшно ему. Страшно – потому что сегодня нужно не просто решить с кем он (это уже решено), но и совершить поступок. И весело от того, что знает, что и другие его товарищи решились на этот же поступок. Весело осознавать себя свободным человеком.

– Равняйся, смирно, напра-а-во!

– Не надорвитесь, вашблагродие. – Спокойно сказал всё тот же широкоскулый солдат, незамеченным подойдя к офицеру сбоку.

– Что? Попов, встать в строй! Командир отделения, ко мне!

– Сдайте-ка оружие, господин капитан, от греха, – сказал Яков Попов и потянулся к кобуре офицера, тот, однако, опередил, выхватил оружие и до того как схватили его за руки, успел нажать спусковой крюк. Попов-то отшатнулся, но, удивленно обведя всех глазами, потрогав, будто не веря, грудь, рухнул на булыжники плаца паренёк, стоявший рядом с Семёном Игнатьевым.

– Ах ты гнида!..

– Бей его!..

– Сволочь...

Через пару минут на плацу лежало истоптанное, будто и не человеческое тело...

Застрелен был и прапорщик Петров, пытавшийся по телефону сообщить высшему начальству о случившемся... Вооружённая толпа в серых шинелях вырвалась на улицу, где уже надвигалась рабочая демонстрация. И молодые крепкие парни из демонстрантов сунули руки за пазухи – к наганам. Но над серой солдатской массой красною птицей взвилось знамя.

– Ура! Ура-а! Ура-а-а!..

... Семён не сразу выбежал с казарменного двора на улицу, оцепенело смотрел он на брошенное тело молодого солдата. Потом подошел к растоптанному телу капитана. Глаза мертвеца, наполненные темно-серым небом, упирались в него. Семён, отвернувшись, быстро, обеими ладонями прикрыл веки мёртвому командиру, лишь тогда снова повернул лицо к нему. И увидел вывернутые карманы шинели – кто-то успел, воспользовавшись суматохой, пошуровать в них. А рядом, на мокром булыжнике плаца, придавленный тяжёлой от крови полкой шинели, лежал конверт. Семён зачем-то поднял его, сунул торопливо в карман.

– Что, братишка?.. – спросил вдруг подошедший откуда-то мало знакомый Семёну солдат, не дожидаясь ответа, понимающе покивал. – Табачком-то не угостишь?

Семён полез за кисетом:

– Прибрать бы надо... – глухо сказал, кивнув на мёртвые тела.

– Да, ладно, потом! – махнул сослуживец. – Пошли, а то отстанем от своих. – И оба пошли торопливо к воротам, за которыми слышалось гудение толпы, шарканье и стук подошв о мостовую. И всё это сливалось в единый звук – будто ползла и шипела огромная рептилия...

... – На Литейном мосту пулемёты, – доложил тот паренёк, что встречал Ивана Позднякова у проходной завода.

«Если пойдём по льду, посечь могут всех. Они сейчас на всё готовы», – оценил Иван Сергеевич положение.

– Стойте, до моей команды не двигаться! – Потапенко-Поздняков вышел из-за прикрытия угла дома. Качнулся за ним солдат Попов, придерживая на плече винтовку с примкнутым штыком.

– Подожди, товарищ, – остановил его Иван Сергеевич. Двинул к мосту, где за мешками с песком виднелись винтовочные штыки, а между мешками – тупое рыло пулемёта.

– Стой, кто идёт!

– Свои!

– Свои пароль знают. Ко мне! – командовал офицерик в светло-серой шинели и глубоко натянутой фуражке, вышагнувший из-за мешков. – Кто такой?

– Я представитель Выборгского комитета партии социал-демократов... Товарищи солдаты! Ваши братья рабочие хотят пройти на Невский и к Зимнему, чтобы заявить царскому правительству свои требования. Братья солдаты, не стреляйте!

– Молчать! – офицерик судорожно тянул, дёргал наган из кобуры.

Грохнул выстрел. Иван Сергеевич опередил офицера. Он ждал, что сейчас и в него ударит винтовочный залп или срежет пулемётная очередь.

...Офицер лежал с неестественно подогнутыми ногами, с ужасом на лице, тёмное пятно расплывалось на серой шинели, на груди...

И выстрел грянул. Поздняков вздрогнул.

– Не бойся, товарищ, иди сюда, это мы тут второго – сами...

Высокий солдат в папахе и с подкрученными усами вышел из-за мешков, махнул призывно рукой.

Поздняков подошёл. Ещё человек пять солдат стояли над телом ткнувшегося лицом в мостовую, лежащего у пулемета офицера.

– Сюда, товарищи! Путь свободен! – Поздняков махнул рукой, и из переулка потекла на мост тёмная людская река...

Центр Петрограда заполнен солдатами, рабочими, мужчинами и женщинами. К Зимнему проехал автомобиль.

– Керенский!

Свершалась февральская, «бескровная» революция.

Глава вторая

1

– Всё это, батюшка, сильно напоминает гапоновщину, тот с рабочими заигрывал, вы с крестьянами... – говорил ротмистр Сажин, прихлёбывая с явным удовольствием чай из фарфоровой чашки, прикладываясь серебряной ложечкой с витым черенком к розетке с земляничным вареньем.

Тёплый июльский вечер. На веранде усадебного дома Зуевых сидят трое. Жандармский ротмистр Сажин – молодой, подчёркнуто аккуратный, с высоким открытым лбом (волосы приглажены назад), тонкой полоской усов, лихо закрученных кверху, и едва заметной, ухмылкой притаившейся в твёрдо поджатых губах. И в глазах, коричневатозелёных за стёклами очков в тонкой оправе, тоже будто бы постоянная усмешка и вопрос. Настоятель Кресто-Воздвиженского храма отец Николай с окладистой, начинающей седеть бородой, длинные волосы собраны в косицу, нос крупный, густые брови, глаза спокойные серые, и говорит он спокойно глуховатым своим голосом:

– Иван Алексеевич, не могу с вами согласиться. В чём же гапоновщина? Ежели крестьяне меньше пьют или же и вовсе отказываются от хмельного, меньше и драк по праздникам, больше и достаток в домах... Да если б не их, тех же крестьян пожертвования – не было бы ни чайной, ни библиотеки, ни школы. – Но тут же батюшка и оговорился: – Отдаю должное, не было бы ничего этого и без жертвований Алексея Павловича.

Алексей Павлович Зуев, подполковник в отставке, наследный владелец усадьбы, высокий, худой, с обширной плешью, с морщинистым сильно состарившимся за последний год лицом, сдержанно кивнул на похвалу священника. Два года назад в Польше погиб его сын Иван, а в апреле из Петрограда пришла весть о гибели жениха дочери Елизаветы. Ей причину не говорили, но Алексей Павлович знал, что погиб капитан Ковалёв от рук вышедших из повиновения солдат собственной его роты... Со времени получения горького известия это были первые приглашённые гости в доме Зуевых. Правда, Елизавета Алексеевна, подойдя под благословение отца Николая и сдержанно поздоровавшись с Сажиним, сразу ушла в свои комнаты, больше весь вечер не показывалась... Хозяйка же дома – противоположность мужу своей округлостью и невысоким ростом – Софья Сергеевна, будто перекатывалась из дома на веранду, а то в саду за домом или в цветнике, или где-то за деревьями парка слышался её голос. Постоянно живущих при усадьбе, нанятых для работ или же просто приживал было здесь довольно много, были даже старики из бывших крепостных. Всем Софья Сергеевна работу находила.

– Что ж, отец Николай, соглашусь – в чайных ваших и прочих аптечках да библиотечках ничего крамольного нет, хотя, уверен, и польза не велика... А вот, то что вы не ныне правящие власти, а отрёкшегося царя и семью его поминаете... Нарушая установления и высшей духовной власти... А? – допив чай, и посмотрев зачем-то сквозь тонкий фарфор чашки в залитое солнцем небо, проговорил Сажин.

– А вы-то кому присягали, господин офицер? – напряженным голосом вопросом на вопрос ответил священник и склонился к столу, при этом золотой его крест, недавний дар «от общества», пристукнул о застеленную голубой скатертью столешницу.

– Временному правительству, разумеется. Присяга же императору, на которую вы указываете, потеряла силу после его отречения.

– Вот именно, что временному... России без царя не жить.

– Живём же... Временное, да. Но скоро будет не временное...

– И я, господа, убеждён, – вступил в разговор Алексей Павлович Зуев, что будущее государственное устройство России должно определить учредительное собрание граждан...

– Нет. Ничего оно не определит, – уверенно и даже заметно грубовато ответил Сажин. – Похоже, что другие люди, никого особенно и не спрашивая, власть заберут.

– Это какие же, позвольте узнать?

– Да вот, наподобие, сбежавшего социал-демократа, – Сажин кивнул в сторону реки, с другой стороны которой, из Ивановки, ушёл прошлой весной ссыльный. – Уверен, что он сейчас в Петрограде, среди этих... большевиков. Им терять действительно нечего, а получить могут власть...

– Народ и власти должны одуматься и коленопреклоненно просить о возвращении на престол царствующей династии, – гнул свою линию отец Николай.

– И, конечно, приход к власти людей подобных этому Потапенке будет тяжелейшим, возможно, смертельным потрясением для России. – Будто сам с собой уже рассуждая, говорил Сажин. И решительно, как отрезал, подвёл итог своим мыслям: – Только военная диктатура, может остановить их...

Отец Николай, понимал несколько циничную правоту Сажина по поводу «аптечек и библиотечек». Да, конечно, это частный момент, организованная в Воздвиженьи «крестьянская чайная», общую ситуацию вот такие местные инициативы изменить не могут. Но и не организовать эту чайную, а к тому же и библиотеку при ней, а при храме церковно-приходскую школу он не мог. Школа-то была и до него, но предшественник отца Николая по старости и увлечению спиртным совсем позабросил занятия с детишками, так что вроде и не было уже школы.

Получалось, что отправили его на этот приход – чтобы навёл пошатнувшийся порядок в церковной жизни, но понимал отец Николай (да точно знал), что это ссылка, с городского прихода отправили его сюда, в медвежий угол, за некоторые излишне самостоятельные мысли, неумение вовремя сделать то, что было бы приятно вышестоящей власти... Но он старался не думать об этом.

Вскоре же по приезду выяснилась едва ли не главная здешняя беда – пьянство.

Воздвиженье – село большое, ярмарочное, имеющее свой кабак, лавки со всякими товарами. Имелся и дом на окраине, где самогон либо брагу можно было купить и недорого в любой день, да и ночью... Были и люди имевшие, хотя бы иногда, деньжата – наёмные работники того же кабатчика Мужикова, лавочников Зародовых, да и дворян Зуевых... В кабаке охотно и в долг наливали, но и не забывали долг в толстую чёрную книгу записывать.

В общем, пили в Воздвиженье не только в пивные праздники, как в большинстве окрестных деревень, да и не только пиво.

А ведь это зараза такая – был справный мужик, землю пахал, семью кормил... Шёл как-то мимо кабака, а там приятель его, что у лавочника батрачил и сегодня расчёт получил – зовёт, угощает... И понеслось – к ночи уж и к Лизяковым за самогонкой побежали... Слаб русский мужик до сладкой водочки, что уж греха таить...

Но делать что-то надо, так решил себе отец Николай, потому что видел, как зараза пьянства и по округе расползается, уж и из дальних деревень и не в праздники, а в будние дни мужики в село за водкой приезжают. Бабы батюшке на мужей жалуются...

Вот и стал думать тогда, пять лет назад, приехав на приход. И первое, что придумал – обет. Придёт мужичок на исповедь (а батюшка от жены его уже знает про его питейные подвиги), и начинает отец Николай мужика вертеть – что ж ты, мол... а совесть-то болит у мужика... «Да я уж каюсь, да я уж, батюшка, постараюсь...» «Наши старания ничего не стоят, а вот скажи-ка перед иконой, что от пьянства отрекаешься...» Мужики, конечно, бывало слово данное нарушали, но уже можно было такому сказать: «Ты же перед иконой слово давал...» А чайная... Да, появилась необходимость собирать мужиков вместе, разговаривать. Пробовал сперва в своём домишке их и собирать, да не больно шли, стеснялись... Тут помог-подсказал местный уважаемый крестьянин Илья Корчагин. Он был из тех, что пред иконой от винопития отреклись. Истоиво верующий, он понял искренность намерений отца Николая – старался

во всём ему помогать, вскоре был избран и церковным старостой. Он и подсказал, а потом так и совершилось – на пожертвования (большую часть денег пожертвовал отставной подполковник Зуев), выкупили пустующую избу – собственность кабатчика Мужикова. Завели там два ведёрных самовара, стали мужиков на беседы собирать. Темы бесед самые разные, к каждой отец Николай особо готовился: в том числе и о вреде пьянства, и о том как бы жизнь свою по правде обустроить... Стали появляться книги на этих беседах, стал давать эти книги грамотеям. Завелась и библиотека, которой заведовала матушка-попадья, а значительную часть книг в которую, опять же, пожертвовал Алексей Павлович Зуев... Особой популярностью стали вскоре пользоваться книги по землепользованию, агрономии, скотоводству. Савелий Носков из Ивановки даже завел под влиянием этих книжек невиданный в этих местах огород с парниками, где выращивал не только огурцы, но даже на забаву ребятишкам и удивление всей округе – тыквы...

Но ещё раньше, чем была организована чайная – бабы в нового батюшку поверили (без этого бы и мужики не заужали, не было бы и никаких чайных). А бабы поверили, потому что ребятишки отца Николая полюбили. Он и не заигрывал с ними, конфет не дарил, но... Идёт бывает, в храм, на службу – навстречу баба или мужик, тут же мальчонка крутится либо девчушка. Взрослого благословит быстрым движением руки, шепча слова молитвы, а малому всю большую ладонь на головёнку положит. «Ну, что, слушаешься маму?» – спросит шутиливо-строго. «Угу», – смущённо буркнет малец, а потом, заикаясь от восторга, рассказывает сверстникам, что, его-то, мол, поп-то, батюшка, так лопатицей-то и прикрыл...

Своих детей у отца Николая и его матушки Марии не было...

2

Лиза раскрыла толстую в бархатном, протёртом на углах переплёте тетрадь – семейную реликвию. Сегодня утром взяла её из книжного шкафа в отцовском кабинете. «Николай Зуев. Заметы моей жизни» – выведено на первой желтоватой странице витиеватым почерком и дата внизу – 1849. Николай Зуев – личность в их семействе легендарная, брат её прадеда. Умер он молодым, а знаменит вот этой тетрадью, которую и раньше листала Лиза с дозволения отца, а прочесть от начала и до конца впервые решила сегодня.

С веранды доносятся голоса отца Николая, этого очкастого жандарма со щегольскими усиками, отрывистые фразы отца...

Николай Зуев Заметки моей жизни 1849

«О, память сердца!

Ты сильнее рассудка памяти печальной...»

(Несчастный Батюшков, кажется, ещё живущий в Вологде).

Явился на свет я в день Усекновения Главы Иоанна Крестителя, в 1822 году, седьмым и последним ребенком своих родителей. О первых годах своей жизни сказать ничего не могу, потому как помнить их невозможно. Хотя, явственно помню мягкие, пахнущие молоком руки нянюшки моей Власьевны. Рос я баловнем у родителей – все мне позволялось. Думаю, что это и стало причиной моего скверного и крутоватого характера. И когда для укрощения меня стали употреблять прут – было уже поздно. Было у меня три сестры и три брата, из коих одна сестра и один брат умерли не достигнув возраста юности, остальные же Божьей милостью живы и ныне.

Пришло же и то роковое для меня время, когда объявили, что мне пора учиться. Меня засадили за азбуку, не взирая на мои слезы. Руководила моим учением первоначально сестра Анна, не жалевшая для меня подзатыльников, но и любившая меня истинной сестринской любовью. Позже явился учитель Федор Богданович Штоффель, немец, обучавший не только меня, но и братьев и сестер. Оказался он так доброжелателен и ласков с нами, что уже через скорое время я часами просиживал в комнатах, отведенных во флигеле для учителя и его жены Матрены Федоровны. Пряников и конфект они для детей не жалели, может, потому, что не имели своих детей.

Я так полюбил учителя, что учеба в дальнейшем подвигалась без малейшего сопротивления с моей стороны.

Как сейчас помню те росистые утра, когда уходили мы с Федором Богдановичем на реку удить рыбу. Сколько радости было в тех походах! Матушка моя, поначалу беспокоилась тем, что я рано встаю, да еще и хожу по мокрой траве, но вскоре, утвердилось в пользе этих походов, кажется не без влияния отца моего – в прошлом боевого полковника.

А с каким удовольствием мы, дети, плавали в лодке по нашей реке, а порою и высаживались на противоположном, носящем название Красный, берегу. Поднимались на гору, с которой открывался прекрасный вид на наш Воздвиженский берег. А камень, который крестьяне зовут Марьиным, и поныне лежащий там – пугал легендами и обрядами связанными с ним, но и манил к себе... Помню, уже несколько позже, сестрица моя Анна, сговорившись с дворовой девкой из Игнатьевых, плавала на лодке и поднималась к тому камню, чтобы, как шептались в доме, по крестьянскому поверью, увидеть будущего жениха. Что случилось с Аней достоверно не ведаю и теперь, нашли ее и дворовую девку Федор Богданович и батюшка, когда была Анна едва ли не в беспамятстве, и потом еще долгое время опасались за ее здоровье. Девку сослали в родную деревню Ивановку на Красный Берег, а для меня и остальных детей прекратились столь памятные походы с Федором Богдановичем к Марьину камню...

Лиза оторвала глаза от книги. На стене перед ней висел портрет в овальной раме – бледный худощавый молодой человек, с зачесанными вперед висками по моде тридцатых годов прошлого века, с внимательными и грустными глазами глядел на неё. Был ли это Николай Зуев, автор «Замет...» или один из его братьев, теперь уже не мог достоверно сказать никто, подписи на портрете не было, имя художника тоже осталось неизвестным, но утвердилось мнение, что это и есть Николай Зуев – брат её, Елизаветы Зуевой, прадеда... «Господи! Жили

в золотое незыблемое время, в богатом именье, в почёте царской службы мужской половины семьи, в заботах по хозяйству и волнениях о здоровье многочисленных детей половины женской, во всём этом не отягощающем богатстве, хлебосольстве, барстве... И ведь тоже от чего-то страдали!»

«Как это, как это – Мити нет?», – прошептала она или только подумала, вспомнив того, о ком старалась хотя бы на время забыть...

3

Как-то уж так случилось – храня почти год неотправленное письмо капитана Ковалёва, Семён Игнатьев прочитал его. Конверт был не запечатан, а на конверте был написан адрес и имя получателя... И не жалел, что прочитал – нельзя было барышне Елизавете Алексеевне получать это письмо. А передать его всё-таки было нужно...

От станции до Воздвиженья – пятьдесят вёрст. Сперва подвёз его какой-то старик, ездивший на станцию за покупками, но не далеко, вёрст десять. Потом Семён долго шёл пешком. Переночевал, не просясь ни к кому у костерка на берегу речушки... С утра снова пошёл – теперь уж вёрст двадцать оставалось...

Время было сенокосное. С утра стояло ведро. Тёплый ветерок прилетал с родной стороны, казалось, приносил запах родной реки, сена.

Почти недельная поездка от Питера в душном переполненном вагоне вымотала его, постоянно болела голова – давала знать о себе контузия. Но к дому ноги сами несли... Послышался храп, шлепки копыт по мягкой дороге. Семён обернулся, уступил путь. Сидевшую на телеге бабу он узнал, видывал раньше в церкви в Воздвиженье, а жила, кажется, в какой-то из деревень вниз по реке.

– Здорово, солдат, – первая грубовато окликнула.

– Здорово, коли не шутишь, – в тон ей откликнулся Семён.

– Садись-ка служивый, до Воздвиженья подброшу. Ты же, кажись, Игнатьев, Семён?

– Семён и есть, отслужил, девушка, своё, – ответил Семён, присаживаясь на задок телеги, в которой лежали какие-то мешки, и в них металлически позвякивало: похоже было, что скобы и гвозди...

– Вот, всей деревней на станцию снарядили. Кому чего купить... В Воздвиженьи-то лавки закрылись...

– Так ты со станции едешь? А я-то ноги топтал, да смотри-ка, ведь и обогнал...

– Нам торопиться некуда...

– Что уж, больше-то не кого было послать?..

– А где вас, мужиков, наберёшься-то, много ли вас вертается-то...

– Твой-то пишет? – спросил Игнатьев неосторожно.

– Похоронка.

– Прости, Ульяна. – Он вспомнил и мужа её Петра Шаравина, вместе призывались, но сразу после карантина попали в разные части и больше не виделись. – Стой! – вдруг командовал. – Что ж за народ, отправляют, а колеса не смазать, и скрипит и скрипит, ведь так все нервы вымотать можно, – Семён бормотал себе под нос, ругал неведомо кого. Да сам себя ругал-то. – Дай-ка дёготь-то. – Баба подала берестяную колобашку с дёгтем, заткнутую тряпичей...

– Вот так, солдатка! – закончив смазывать колёса, сказал Семён. – Пойду-ка, всполосну руки. – Он свернул с дороги влево, там под берёзовой горюшкой шустрил ручей, впадающий потом в реку. Склонился над чистой водой. Дно песчаное. И Семён подхватывал белый песок, тёр им давно загрубевшие, почерневшие ладони... Услышал шаги сзади, обернулся. Ульяна шла, спустив платок с головы на плечи, придерживая его за кончики – шальной огонь в глазах, а на губах горькая улыбка...

И сейчас, расставшись на отворотке дороги с Ульяной Шаравиной, проходя Воздвиженьем мимо усадьбы Зуевых, Семён встал у ограды со стороны сада, слышал, как перекликались в кустах малины и смородины девки. Увидел одну, белобрысую в сарафанишке, босую:

– Иди-ка, сюда, толстопятая. Да иди, не бойся, – позвал Семён девчущку.

– А я и не боюсь. Чего? – подошла, а всё ж на подруг оглядывается.

– Вот что, голубоглазая, вот тебе пакет, передай его старшей барыне. И только ей. Поняла?

– Чего не понять... А ты, дяденька, с войны?

– С войны.

– А нашего-то папку там не встречал?

– Как фамилия-то? – серьёзно спросил Семён.

– Ивановы мы. Пантелей Григорьевич зовут.

– Нет, голубоглазая, не встречал. А до войны знал твоего батьку. Да призывались-то мы в разное время. На-ка, – достал из вещмешка заветную круглую коробочку, скovyрнул крышку плоским широким ногтем, – возьми момпасейку-то.

Девка (да девчонка ещё совсем – лет тринадцать), опять оглянулась на подруг, взяла конфету робко, но в рот засунула моментально, как и не было сладкой ледышки. Взяла конверт, кивнула, отвернулась от Семёна, сунула за пазуху.

– Да ты не мни, неси сразу барыне!

Девка обернулась, хотела, поди-ка, поспасибовать, но рот раскрыть побоялась, только кивнула и побежала, придерживая левой рукой подол, держа в правой лукошко с ягодами, мелькая щиколотками в траве...

А Семён вскоре спустился к реке. Вон он Красный Берег, вон и крыша родного дома, вон и банька с серебристыми стенами... Во рту пересохло, и сердце застучало где-то в горле... Стал, оглядывая берег, искать лодку...

«Милая Лиза, здравствуйте!

Уже вторая неделя, как полк наш стоит в Петрограде. В последние месяцы нас изрядно потрепали – отдых необходим. Но, к несчастью, нахождение наше в столице, в бездействии, явно деморализует солдат. Там, на передовой, враг очевиден. Здесь – враг ползучий, внутренний. Всяческие социалисты разлагают солдат. Дай Бог нам выстоять в эти тревожные дни и выполнить свою миссию в нужный час.

Вспоминаю то лето трехлетней давности, наши прогулки в окрестностях милого, ставшего для меня родным Воздвиженья. Берег, заросший кашкой, словно мягкий бело-зеленый ковер у нас под ногами и лиловые султаны кипрея вдоль дороги. Вспоминаю разговоры с мужиками и отцом Николаем, весь тот довоенный мирный покой... И Вас, милая Лиза, в белом воздушном платье, то улыбочивую, а то задумчивую... Ничто в мире не повторяется! Но, я верю в наше будущее счастье.

Этим летом надеюсь все же получить отпуск и, навестив матушку, приехать к Вам, в Воздвижение.

Передайте, пожалуйста, поклон и самые лучшие пожелания Вашим родителям. В следующем письме более подробно напишу о питерском нашем житье-бытье. А Вы, пожалуйста, пишите подробнее о своем.

Остаюсь вечно Ваш – Дмитрий Ковалев.

Софья Сергеевна, прочитала письмо.

– Чего стоишь? – шикнула на девку. – Или все ягоды обобрали?

Босоногая почтальонша подхватила рукой подол и убежала к подругам, которым вскорости и рассказывала:

– На Красный Берег солдат-то шёл. Игнатьев. Письмо... Барыня-то, как прочла, аж пошатнулась...

4

...Наконец же, перевели меня из моей спаленки в общую с братом комнату, а вместо няньки приставили ко мне дядьку Матвея, – писал в дневнике Николай Зуев. – Видя брата своего иногда читающим книги, я и сам вздумал читать их. Читал же, зачастую, ничего в них не понимая, единственно стараясь не уступить брату в скорости чтения...

Так текли дни детства моего. Ничто не нарушало спокойствия нашей деревенской жизни. Лишь три дня в году потрясали село шумом празднующего народа. То были Пасха, Воздвижение и Троица...

...День Троицы, или лучше сказать последние два дня заговенья перед Петровым постом праздновались в нашем селе под качелями. С самого утра из всех окрестностей села кругом верст на двадцать сходились поселяне и поселянки, разряженные в пух и прах. Мы всегда любовались из китайской беседки нашего сада на пестреющие с разных сторон группы крестьян с их семействами. Все тропинки полей кипели народом, стекающимся со всех сторон, и походили на ленты всевозможных цветов, колеблемые ветерком. А по реке плыли лодки и даже плоты с Красного Берега, и слышался бряк балалайки. Толпы народа с шумом валили в наш двор. Посреди этой толпы несколько человек гигантского роста в самых странных костюмах, возвышаясь на сажень посреди этого людского моря, расхаживали с палицами Голиафа, оставляя по следам своим писк и визг поселянок, которые опрометью бежали от них, поднимая подол своего платья. Качели с скрипом поднимали людей и носили их по воздуху, и родная песня русская, вторя свисту и скрипу качелей, раздавалась в воздухе, то исчезая, то снова являя свои звучные перекаты, сопровождаемая хлопками в ладоши, символами, означающими изливание чувств наслаждения и радости русского мужичка, который, подгулявши в меру, в синем кафтане, в красной рубахе с пуховой шляпой набекрень, ходя под качелями, пощелкивает орешки, вытаскивая их из своих полосатых штанов, приплясывая под лад песенников и звон балалайки. Тянулся длинный ряд сельских красавиц, нарумяненных и набеленных подобно деревянным куклам, и перед ними являлся какой-нибудь молодец с заткнутыми за пояс лапами кафтана и, ударяя по своей трехструнной балалайке, пускался вприсядку, вздрагивая и ломаясь подобно лягушке. То вдруг образовывались несколько кругов, и в середине их начиналась пляска, сопровождаемая песнями. И даже сам батюшка дерзал иногда пуститься в камаринскую, потряхивая своею сединой и запутываясь в подряснике. Кипящие самовары с сбитнем пускали клубы пара, приманивая к себе сельских девиц промочить засохшее от песен горлышко. В другой стороне гуляющие с визгами бежали в горелки. Но вот толпа мальчишек кидается к балкону дома, на котором появились корзины с пряниками. Они толпятся, снявши шапки и разинув рты, дожидаясь того времени, когда хозяева дома и их гости начнут горстями кидать им пряники. С криком кидались на угощение, подобно муравьям толкались, давя друг друга, падая, производя тревогу, пока ушат воды, вылитый с балкона, не заставлял их расступиться с криком, плачем и вместе хохотом. Таковая забава повторяется не один раз, и мальчишки расходятся с подбитыми глазами, растерявши свои шапки и изорвавши и перемочивши все платье, очень довольные несколькими пряниками, которые им удалось поймать на мокром песке или на траве.

Но вот запад вспыхивает пурпуром от лучей тонущего за горизонтом солнца, крики и песни уставших поселян начинают утихать, волны народа колышутся, рассыпаются радужными снопами в разные стороны, и звуки песен их исчезают в отдалении, вторя песне рожка, сзывающего стада с пастбища на покой, и песнь кузнечика возвещает наступление майской ночи, которая в тысячу раз бывает очаровательнее дня. Прохладный ветерок сдувает с листочков дневной загар, мрак нисходит на землю, и луна выкатывается на свое

место. Удары сторожа раздаются в привязанную к амбару доску. Природа замирает, укутываясь в туман.

Но приходит мгновенье – восток золотится багровым заревом, и луна бледнеет, испугавшись незваного гостя, который уже брызжет своими лучами на природу и отражает их в дрожащих каплях росы. И жаворонок из поднебесья возвещает начало дня.

Таковы майские ночи в нашем северном климате. И после этого говорят, что у нас нет ночей очаровательных, божественных. Скорее нет ума у тех людей, которые так говорят.

Таким образом проводятся целые три дня, и никакая власть господина не в состоянии удержать этого разгула. Во всем барском доме трудно в то время насчитать двух человек, которые бы не тыкались носами в тарелки, служа за обеденным или ужинным столом.

Мы, то есть я и брат, по свойственному в наши молодые годы любопытству, бежали тайком под окна изб смотреть на эти крестьянские пириества и, не довольствуясь смотрением чрез окна, переодевались в какие-нибудь полушубки и, втершись в двери с толпой зевак, с удовольствием любовались на русские пляски. Ни один бал не восхитил бы меня тогда своим блеском и пышностью, как эта посиделка, на которой начиная с старого до малого все были пьяны. Огромные жбаны с пивом и штофы с вином стояли на столе, и хозяин лишь только успевал наполнять их, радушно кланяясь каждому прихлебателю, который, отпивши с полжбана (а это право составляло не менее четверти ведра), снова пускался вприсядку, ломаясь как черт перед заутреней...

Тут несколько страниц в тетради были почему-то вырваны. Лиза уже увлеклась чтением, она будто погрузилась в тот давний, но и родной ей мир...

Но приходит и осень, убран урожай. Тогда у помещиков только и бывает дела, что отъезжие поля. Ни ветер, ни осенний дождь, который туманит даль до бесконечности и щиплет лицо подобно булавкам, не суть для них препоны. Бурку на плечо, арапник в руки, свору борзых на руку – и в поле. Атукают, завидя косога мошеника, который упругим комом вытархивает из своей засады, оглядывается, и, прижавши к спине уши, летит по полю, лавирует как судно под парусами и, видя неминуемую гибель от своих врагов, наступающих уже ему на пятки, вдруг как будто приковывается к одному месту, и враги его, подобно черепкам лопнувшей ракеты, разметываются во все стороны, оставляя ему свободное поле для утеку к опушке леса. Ни крик охотников, ни хлопки арапника тогда не в состоянии уже удержать его полета и он, подобно вихрю, мчит к лесу, и протяжный свист псаря возвещает невозвратную его потерю. Тогда собираются снова все охотники в одну гряду и, собравши собак на свору, ведут переговоры о дальнейшем их путешествии. Наконец опять гончие кидаются в остров, ловчий с заботливым видом объезжает опушку леса, и вдруг раздается лай. Он раздается сильнее и сильнее и, наконец, сливается в один неистовый гул, который слышится все ближе и ближе, и вот что-то подобно ядру пушки выкатывается на поле. «Ату его!», – раздается, и борзые, свистя подобно стрелам, летят за этим комком, достигают его, раздается писк, и радостное «го-го-го» доезжачего с поднятою вверх фуражкой возвещает победу. Нож блестит из-за его кушака, кровь брызжет, и лапки животного кидаются повизгивающим от возбуждения собакам. Тут обыкновенно начинается спор о том, чья взяла зайца, и мир заключается лишь заздравным кубком. Вечереет. Звук рога раздается, и весь эскадрон псарей и господ их собирается в одну гряду. Подобно разводу с церемонией делается смотр всем собакам, лошадям, псарям и зайцам и, наконец, люди, собаки и лошади тихим шагом отправляются поближе к дому, в котором самовары уже ждут на столе гостей и хозяев. И вот уже усевшись кругом самовара, наперебой рассказывают женам о своих ратных подвигах, спорят об удалстве охотников и о скачке собак. Спорят, спорят и для уразумения дела общим советом посылают за доезжачим, который еще с арапником в руке является рассекать гордиев узел недоразу-

меня и, получивши рюмку водки и стакан чаю, отправляется варить кашу собакам и расседлывать лошадей. Наконец, является посреди стола котлик с ромом. А сахарная голова, покрытая синим пламенем, трещит и обтекает как худая сальная свеча через проволочную сетку в ром. Пламя гаснет, и серебряный ковш наполняет стаканы беседующих, потом еще раз и еще, и устаток вместе с общим одобрением на счет скорейшего отправления на боковую, разводит каждого из них в свою комнату до утра...

5

Николай Зуев, отложил перо, промакнул тяжелым пресс-папье и присыпал золотистым песочком исписанный лист. Он был доволен, тем, как удалось написать об охотах виданных в детстве и ранней юности. Всего лишь однажды он и сам был почти равноправным участником большой охоты... Ничего этого не осталось. Ближайшие соседи в большинстве своём перебрались на постоянное жительство в города, предоставив управление поместьями управляющим. Отец постарел и уже не держал свору, и давным-давно не садился на коня. Сам Николай и брат его бывали здесь не часто и довольствовались одинокой ружейной охотой... Николай Зуев поднялся из кресла, надел висевший на плечиках на стене старый китель, натянул стоявшие тут же сапоги, застегнул на поясе патронташ, надел полотняную фуражку, снял со стены ружьё и, не потревожив никого в доме (было ещё раннее утро), вышел во двор.

– Здравствуй, Макар, окликнул дремавшего на ступеньках флигеля старика-сторожа, зябко запахнувшегося в армяк.

– Доброе утречко, Николай Владимирович, – отозвался старик и поднялся.

– Ну, как погода нынче?

– Ведро будет, барин.

Зуев прошёл аллеей парка, вышел за ворота и мимо церковного кладбища спустился к реке, отвязал лодку, вставил в ключины вёсла, поплыл в туман...

...Елизавета Алексеевна отвела глаза от портрета и снова стала читать дневник своего предка.

...Но вот затевается у нас свадьба. Надежда Владимировна выходит замуж. То-то радость, будут праздники, будут гости, классы на время закроются. Является жених со свитой родственников, музыка не умолкает в саду, гостям нет счету. Наконец наступает день венчания. Плошки освещают церемониальный поезд в церковь. Непривычные кони храпят и озираются на зарево вспыхивающего скипидара и, наконец, мари екатерининских времен встречает новобрачных, приехавших в дом. Я являюсь в курточке, обшитой серебряными шнурами, подвитой, получаю подарки от моего нового родственника, бегу их показывать лакеям, нянькам и мамкам и, переломавши в тот же день по крайней мере половину всего подаренного, получаю за это выговор. Наконец праздники кончаются, на нас опять надевают нанковые курточки в чернильных пятнах, и вновь мы внимаем голосу учителя.

Наступают осенние вечера, нам делают огромной величины и самым нелепым образом раскрашенные змеи, трещотки из бумаги гудят в воздухе, и мы в теплых шапках с наушниками сидим на галерее и любимся этой невинной забавой, дергаем за шнурок, и змей с рокотом плавают по воздуху, то поднимаясь в поднебесье, то опускаясь, и, делая круги, вновь устремляясь вверх. Вдруг раздаётся с балкона голос: «Дети, пора домой. Да есть ли на вас шапки? А где ваши дядьки? Застегните ваши шинели, домой, домой», – и балкон запирается. А мы вымалываем каждую минуту времени у наших дядек и с досадой в сердце слушаемся их, собираем змея и идем вверх благодарить наших родителей.

С какой завистью смотрели мы из окон на наших сестер, гуляющих перед домом, бегающих взапуски вокруг цветника. Я бы готов был тогда отдать все за одно только позволение в осенние восемь часов вечера гулять вместе с ними и дразнить собак и кошек капельмейстера Егора Васильевича, с важностью расхаживающего с дубовой палкой по парку и собирающего целительные травы для настою (он, как и все великие композиторы, имел своего рода странности и довольно сильно придерживался горячительных напитков), но об этом нельзя было и помыслить. Скорее могло солнце обратить свой ход, чем мы совратить наших родителей

от мысли, что на дворе не сыро и не холодно и нельзя простудиться в августе месяце в вязаных носках, в набитых пухом плюсовых шапках, в валенцах и в ваточных шинелях.

Но вот наступают темные осенние вечера. Измокшая ворона, надувшись, сидит на шаре ворот и с карканьем летит, согнанная ветром. Дождь хлещет в окна. Разражается мрачная осенняя гроза. Тогда запираются у нас в доме все двери и ставни, затыкаются щелочки, и тихая молитва шепчется в полусвещенной комнате.

Но вот дождь начинает стихать, облака рассеиваются, раскаты грома раздаются уже как будто за горами. Свод неба яснеет, облака выкатываются из-за горизонта и румянятся розовыми закатными лучами. Молнии еще поблескивают вдали... Что за ветер дует тогда на землю! Как грустно и легко бывает душе человека!

Недолго насидела в девучиках и другая моя сестра. Явился жених из Ярославля и, посва- тавшись зимой, летом стоял уже у престола с венцом на голове. Тоже были опять праздники, веселье, обеды, балы, вечера не успевали сменять друг друга. Но прежде всего этого молодой жених отправился закупать подарки и наряды своей невесте. И ему поручено было в числе галантерейных вещей купить для нас куколку – нового учителя.

И вот является учитель с огромным красным носом, с черными барашками на голове, с пустотой и глупостью в голове. Начинает нас учить как попугаев французским разговорам. Принялся-то он за нас сперва хорошо, но по недостатку характера не смог свести хорошо концов...

Тут Елизавета Зуева, вдруг поняла, что давно уже читает, не вдумываясь в слова... Она захлопнула альбом и вышла из комнаты.

...Николай Зуев приткнул лодку к берегу, вышагнул из неё, оступился при этом в воду, досадливо поморщился, выдернул лодку на галечник и песок.

Он поправил патронташ, поддёрнул ремень ружья на плечо. И застыл, будто в растерянности. Ну, действительно, не на охоту же он приплыл сюда, какая здесь охота... Пошёл вверх по тропе, к Марьину камню. Снял ружьё, поставил, уперев его о камень, обмял траву и сел... И понял, что никуда не уплыл, не ушёл от тех мыслей, что не давали покоя и дома... «Как же случилось, что я, обычный дворянский мальчик, воспитанный во всех обычаях и предрассудках уездного дворянства, но всё же в вере, в христианской любви, в тяге к добру, к тридцати годам потерял и веру, и любовь, да пожалуй, и тягу к добру в том понимании, что внушалась мне воспитанием?»

«Я утратил, ту наивную чистую веру, но не приобрёл веры иной. Потому что вера в прогресс и социализм – не есть вера, а есть убеждение, причём, уже поколебнувшееся во мне...»

6

К вечеру, проводив гостей, подполковник Зуев расположился в своём кабинете, с наслаждением закурил трубку и раскрыл альбом Николая Зуева... Интересно наблюдать за ходом мыслей человека, когда-то жившего здесь же, сидевшего, может в этом же кресле, поверявшего думы свои дневнику...

...Время летит. Зима проходит. Мы учимся каждый день и ничему не научаемся. Трудно было чему-нибудь и научиться. Я полагаю – воспитание юношества есть самоцветный камень, вплетенный в венок жизни человеческой. Юноша подобен молодой ветке, которая гнется смотря по тому, с какой стороны на нее подует ветер, но не ломается. Столетние деревья вырываются с корнем от бури, а молодая ветка только приклоняется к земле. Юноша, видя перед своими глазами дурные примеры, удерживает их твердо в своей памяти и черты их у иных оставляют неизгладимые следы, которые клеймят всю жизнь человека, подобно роковой печати, выклеянной палачом на лбу преступника. У иных же сила воли, этот рычаг двигающий всей массой действий человеческих, стирает их с чела. И семя разврата, зароненное на почву способную производить и дурное и доброе, подтачивается острием рассудка. Хоть это зависит совершенно от воли человека, но не менее и от образа жизни, какую он себе избрет, от избранных им занятий, или другими словами от круга действий в которых он находится. Магометанин никогда не поверит, что христианская религия есть самый важный источник в достижении вечного блаженства, потому что он слепо покорился своему закону. Уверьте развратного человека, что его поступки чернят не только его самого, но даже унижают человечество. Он вам никогда не поверит, потому что, запутавшись в тернии разврата, он уже не в состоянии высвободиться из него. Посмотрите вы на человечество вообще и вы увидите бесконечную разнообразность характеров, мыслей, чувствований, страстей, способностей и впечатлений.

Скажем несколько слов о человечестве. Хоть первобытный человек, созданный Богом по его подобию, получил душу чистую и ум, направленный к одной доброй цели (потому что зло нравственное и физическое не могло тогда еще существовать), и так как род человеческий расплодился от одного корня по лицу всей земли, то отчего же люди, получая друг от друга наклонности совершенно одинакие, являют характеры совершенно различные? Отчего первая отрасль человека Каин решился на убийство своего брата Авеля, не видя и тени подобного примера перед собой? Это верно показывает, что человеку дан ум, который не имеет пределов. Столпотворение Вавилонское есть уже в высокой степени гордый замысел человека противоборствовать самой природе. И это-то самое столпотворение, послужившее причиной рассеяния людей по всему лицу земли, стало причиной подчинения человека тем природным условиям, в которые попал он по рассеянии. Природа служила для человека образцом, по которому он составлял свой идеал. Природа была руководительницей его поступков, она была его матерью. Житель севера и житель юга, один взлелеян вечными снегами, а другой лучами палящего солнца, имея при рождении одну цель – существование, избрали для себя совершенно различные наслаждения. Северянин прислушивался к реву бури и добывал пропитание охотой. Между тем как житель юга, покоясь под сенью лимонных и померанцевых деревьев, в упоении прислушивался к тихому щебетанью птичек и одним движением руки собирал обильную жатву для своей пищи. Человек был тогда счастливым созданием. Зависть была чужда ему, каждый был доволен своим жребием, бросившим его на неизвестную стезю. Но это блаженное состояние человека продолжалось недолго. Вопрос, который задал себе человек, был причиной его деятельности. Кто я? Где я? Для чего я? Эти вопросы заставили его сомневаться в довольстве его состояния. Он уверился, что цель его существования должна быть отлична от цели других существ. Он начал изучать природу, углубляясь более и более в ее тайны. С этого времени

начинается борьба человека с природой. Природа по своей бесчисленной разнообразности хоть и не могла удовлетворить вдруг его потребностям, тем не менее человек, созданный обладать ею, не оставлял и не оставляет ее изучать. И при исследовании ее первая мысль его была, что, изучая природу как творение, он должен сперва изучить творца. Отсюда происходит бесчисленный ряд философов, которые, изучая творца в применении к природе, составляли в своем воображении идеал, который по необходимости должен управлять миром. И они, не будучи просвещены светом христианской религии, искали в самой природе этого делателя и поклонялись огню, воде и прочим стихиям. И даже смели в невежестве своем противопоставлять свои суеверия истине христианства даже и услышав Благоую Весть. Но слова, писанные рыбаками, устояли твердо против гонений целых народов и открыли и распространили свет, «иже просвещает каждого человека грядущего в мир» и истину, которая переходит из рода в род. Природа столь разнообразна в своих явлениях, что не человек, но человечество способно изучать ее. Пылинка, сдуваемая дуновением ветра, подвержена тем же законам природы, которые движут мириадами миров. Капля воды кипит деятельностью наравне с океаном. Полнота жизни является в малейшем атоме творения, и природа, будучи тесно связана с человеком, невольно заставляет его изучать ее тайны. Человек, поднимаясь на ледяные горы Северного океана, презирает свою гибель, он жаждет знания, и пожиная плод своих трудов, он передает его для оценки своему потомству, которое, не видя иногда прямой пользы от его изысканий, побуждаемое примером и подстрекаемое любознательностью, само потом увлекается любопытством и довершает то, что было начато предшественником.

Для подполковника в отставке Зуева вечернее чтение этих странных записей было чем-то вроде медитации, он и не вдумывался особо в текст, лишь иногда цеплялся мыслью за какую-то фразу...

Если страсти и порывы уже проявились в первосозданном человеке, то нет никакого сомнения, что люди впоследствии более образовавшиеся были еще более увлекаемы страстями на обширном их поприще. Из той же самой природы, которая сперва была для них загадкой, они извлекли источники своего богатства, как вещественного так и умственного. Если бы Вольты и Гальвани через ничтожный опыт над ничтожными животными не открыли присутствия электричества во всяком теле, тогда бы двигатель органической жизни в природе не был бы доступен уму человеческому. Гром и молнии были бы для него чудом. Если бы Галилей не открыл силы и могущество каждого тела, если бы в силе кручения не открыл закона притяжения малых тел к большим, тогда смелый взор человека не проник бы в надзвездные миры. Звезды бы остались для нас теми же сальными огарками, воткнутыми в небо. Луна почиталась бы тем солнцем, которое создано для того, чтобы разгонять своим светом тьму ночей. И радуга осталась бы тою же змеею, пьющею с двух концов лишнюю воду из рек.

Странный был это Николай Зуев. И история, какая-то странная, непонятная о нём передаётся в семье. К тому же уже полузабытая, изменённая недомолвками и приукрашиваниями... То ли социалист он был, то ли ещё что-то, но в именье-то он был сослан из Петербурга. Здесь постоянные ссоры с отцом, и что уж совсем кажется невозможное – дуэль с собственным братом. Да – была ещё любовная история, с какой-то крестьянкой из Ивановки (кажется, из-за этого и произошла ссора зашедшая до дуэли)...

Итак, я сказал, что мы учились и ничему не научились. Не верьте этому. Мы как нельзя лучше успевали. Что же вам больше? Едва познакомившись с русской азбукой, я уже говорил по-французски, читал по-немецки, знал, что в России не одна, но две столицы – Москва и Петербург, что в Москве были французы и озьябнувши от сильного холода, который, как мне сказывали, Бог послал для того, чтобы заморозить всех нехристей, они начали топить улицы города, зажигая дома. И что она, как древняя русская столица удержала до сих пор право венчать на царство царей. А о Петербурге тогда ничего не знал. Сверх того я выучился поговоркам и ухваткам от лакеев, в обществе которых я был по необходимости, не имея другой

для себя партии знакомых. Выговор мой от этого так был груб, что когда я приехал в Петербург, то ударения мои на «о» производили судорожные движения на лицах слушающих...

Тут опять были вырваны несколько листов...

Политика, другими словами, есть искусство жить на этом свете так, чтоб и волки были сыты и овцы целы. Волки-то бывают сыты, но что касается до овец, то хоть они и остаются живы, но по большей части с изорванной шкурой. Это совершенно оправдывает поговорку, что сила солому ломит, и эта вечная борьба человечества не может кончиться раньше, как с кончиной мира, так точно как и с закатом ее кончится борьба творчества и науки. Человек хоть всегда останется по-прежнему человеком, но сила воли его всегда будет изменяться до бесконечности. Наука всегда будет наукой, но творчество никогда не будет иметь предела. Человек, не старающийся приводить свой ум и способности в действие для своего усовершенствования, будет подобен не пущенной в ход машине, которая будет стоять в бездействии до тех пор, пока опытная рука механика не направит ее к предназначенной цели. Человек есть совершенный образец машины. Его главный двигатель – ум, прочие его способности – колеса, которые действуют в нем и принимают направление сообразное тем, которое дает двигатель – разум. Но уж если раз направленные мысли человека к одному предмету укоренятся в нем, сроднятся с ним, тогда никакая сила не в состоянии удержать их полета, а если остановятся, не иначе, как натолкнувшись на такую силу, которая раздробит его совсем. Так карточный игрок не перестанет до тех пор играть, пока не разорится вконец. Так тиран не смирится до тех пор, пока сам не падет от ударов своей власти. Так ненасытный человек не перестанет искать богатства до тех пор, пока могила не отнимет у него вдруг всего. Так безбожник не признает своего Бога, пока гром мщениия небесного не разразится над его головой. Так гений человека будет таиться в нем до тех пор, пока случай не высвободит его из мрака, и разум не осветит его лучом своим!

...Сладкие пирожки довели меня до горьких истин. Но ведь известно, что от смешного до великого один только шаг. Мешай дело с бездельем, с ума не сойдешь – говорит поговорка. Если бы я стал говорить один только вздор, то прослыл бы пошлым дураком, если бы стал без пощады философствовать, то заслужил бы то же самое название. Держась середины на половине, я, надеюсь, и предоставляю судить обо мне каждому как ему угодно.

...Николай Зуев сел, прислонившись спиной к камню, рядом же поставил ружьё. Достал из кармана трубочку с коротким чубуком – подарок петербургского дружка-гусара, неторопливо набил табаком, перемешанным с вишневым листом (забота старого усадебного слуги Макара), чиркнул кресалом, подпалил от искры лёгкую бумажку, лежавшую в кисете, от неё раскурил трубку. Всё делал не торопясь, с явным наслаждением... Внизу, под угором, над рекой, над Воздвиженским берегом пластался туман. Он уже редел, ветерок разгонял его... И вот порозовел крест над храмом – вышло из-за леса, встало в речном створе солнышко. И сразу от Ивановки послышался мык коров, побрякивания их ботал, еле различимые голоса хозяек, выгонявших своих кормилиц на улицу, где поджидал их поряженный на лето пастух... Николай нетерпеливо вытряхнул недокуренный табак из трубки, поднялся, стряхнул росу с одежды и отошел к краю поляны, встал под ширококромной сосной, так, чтобы видеть тропу, ведущую сюда от деревни. И сначала услышал, потом увидел её – в тёмно-синем сарафане, белой с красным узором по краю рубахе под ним, с лентой синей (его подарком) на голове, тугая коса вперёд на грудь брошена, испуг и радость в глазах. И Николай, не в силах больше терпеть, с колотящимся сердцем, вышагнул навстречу...

7

– Николаша, правда ли то, что говорят... Все, даже дворня? – преодолев видимое смущение, спросил Николая Зуева его старший брат Пётр, нервно набивая трубку. Он лишь вчера приехал из Москвы, получив отпуск в своём пехотном полку.

– Да, – ответил Николай. И тут же торопливо добавил, стараясь пресечь дальнейшие расспросы: – Но это моё личное дело!

– Нет! Это не только твоё дело. Это касается чести семьи. Что ты делаешь с родителями. А об этой... крестьянке ты подумал? Что ждет её...

– Прекрати, Петя... Это слишком серьёзно для меня...

Они курили в бывшей детской, переделанной нынче под кабинет Николая. Пётр сидел на старом, обитом давно вытертой кожей диване, нервно затягивался дымом, подкрученные усы его при этом приподнимались и опускались, придавая лицу то злое, то удивленное выражение. Николай стоял у окна, смотрел в парк, где уже совершала перемены осень...

– Может, ты и женишься на ней? – с вызовом спросил Пётр.

– Может, и женюсь, – так же с вызовом ответил Николай.

– Подлец, – тихо, но твёрдо сказал старший брат.

– Замолчи... мерзавец...

Они уже стояли друг против друга, глаза в глаза.

– Я убью тебя.

– Я сам тебя убью.

...Оба были, как в бреду. Но действовали при этом осторожно и расчётливо. Так, что никто и не догадывался, к чему они готовились. Так в детстве, задумав, тайком готовили они и даже почти совершили «плавание в Америку»: лодку с мальчишками, где лежала и старая отцовская сабля, и запас продуктов, и даже карта мира, перехватили уже у города...

– Скажи, что ты одумался, – требовательно сказал Пётр, заряжая при этом пистолеты.

– Нет.

Они стояли на поляне у Марьиного камня.

Пётр больше не говорил ничего, сунул в руку брата оружие и отошёл к краю поляны. Николай отошёл к другому краю, развернулся. И одновременно грохнули выстрелы.

Филин сорвался с кроны сосны, широко расправив крылья, сделал круг над поляной и вновь стал невидим в широких густых ветвях.

Пётр бросился к лежавшему недвижимо брату. Он был уверен, что выстрелил мимо и даже был уверен, что видел, как пуля вошла в сосновый ствол. Но брат мёртво лежал перед ним...

– Николаша... Коля!

Брат был жив, пуля не задела его. Но он был без сознания...

...Воздух, тронутый широким крылом птицы, опухнул его... Девки вели хоровод вокруг камня. Пели, что-то невнятное и заунывное. А были все в белых исподних рубахах с венками из купальниц на головах, с распущенными волосами. И Дуня его здесь. Вдруг все они уставились на него и с неслышимым визгом, порвав хоровод, убежали за деревья. А Дуня, тоже отбежав к кустам, оглянулась, и несмелая улыбка озарила её лицо...

От реки в дом помогли донести его старый слуга Макар и франтоватый кучер Лёвка, уложили Николая на тот самый диван в бывшей детской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.